

В конце прошлого года по инициативе Министерства культуры Красноярского края уже в тринадцатый раз прошло Академическое собрание в формате научного доклада в театрально-сценическом сопровождении с участием артистов красноярских театров и краевой филармонии. Правда, в этот раз оно прошло виртуально—участники знакомятся с его видеOVERсией на различных электронных ресурсах. Академическое собрание 2020 года посвящено национальным языкам и национальным картинам мира разных народов, а также юбилеям выдающихся языковедов, этнографов и писателей, которые внесли свой особый вклад в мировую лингвистику и культурологию. С видеOVERсией Академического собрания вы можете ознакомиться, пройдя на канал Академического собрания по ссылке: <https://youtu.be/AiiFk0bWtAg>. Для читателей «ДиН» мы публикуем текст доклада доктора философских наук Ольги Карловой—научного руководителя проекта.

Редакция «ДиН»

Библия связывает появление разных языков у человечества со строительством Вавилонской башни. Устремлённое к небу, это глобальное сооружение явило Богу безмерную гордыню людей, уподобившихся Ему, за что и последовало немедленное наказание. Заговорив на разных языках, люди оказались настолько не способны договариваться и работать вместе, что даже вполне очевидная цель—дальнейшее строительство башни—не смогла их объединить в сколько-нибудь рациональной совместной деятельности. А это означает, что они не просто перестали понимать произносимые другими слова—они вообще перестали понимать друг друга. То есть, выражаясь по-современному, вместе с языком люди поменяли и менталитет—свой способ мировосприятия.

Вавилонская башня и задачи народов

Древние мифологические тексты обладают одним важным качеством: сколь фантастичными они ни казались бы нам, наука доказала, что в их основе всегда лежит факт. Таким образом, можно предположить, что в Вавилоне действительно проявился некий глобальный языковой катаклизм, который

показал, как, сообразно языку, разнятся и восприятие народов, и даже их мышление. И если по поводу самого вавилонского столпотворения историки ещё спорят, то мировое языкознание давно подтвердило связь языка и менталитета народа—на это науке потребовалось два с лишним века великих лингвистических открытий.

Но нас интересует ещё один важный вопрос: означает ли финал библейской притчи, что вместе со смешением языков племени и народы изменили не только чувства и реакции, но и свои национальные задачи? Действительно, куда-то же должна была устремиться созидательная сила каждого племени и народа после того, как они отказались от некогда единой, пусть и греховной, цели. Более того, эти ментальные различия, несмотря на мировую глобализацию—естественную и искусственную, до сих пор настолько сильны, что правительства разных стран при поддержке своих народов с трудом договариваются о разумных совместных действиях.

Что скрывает «главная картина» нации?

Так каким же образом проникнуть в тайны менталитета народа, если это не что иное, как национальный взгляд на мир, не доступный чужакам? Для этого недостаточно осмотреть архитектурные достопримечательности и попробовать национальную кухню. Каким локатором улавливаются «разлитые» в коллективном сознании смыслы, играющие роль ценностного экрана—экрана, через который народ смотрит на мир и посредством которого исторически создаёт свою национальную картину мира? Да, оказывается, такая картина мира есть абсолютно у каждого народа, даже если его зафиксированная история насыщена не более ста лет. Характерны в этом смысле открытия русского этнографа-североведа Владимира Германовича Богораза (Н. А. Тана), который в начале двадцатого века впервые описал космогонические модели северных этносов России—прежде всего чукотского народа. Учёный выявил дуализм луоравелланской-чукотской этнической модели, состоящей из Нижнего и Верхнего миров, и уточнил особенности такой двойственности восприятия действительности, которая и определяет

одухотворение народом всех явлений природы. В этой двойственной реальности возможен контакт между мирами, а проводниками выступают шаманы с их магическими практиками.

...В мультфильме о Простоквашино родители дяди Фёдора спорят о том, зачем нужна висящая на стене картина: отец настаивает на её эстетических качествах, мама утверждает, что она дырку на обоях загораживает. И они оба правы.

«Заградительная» функция есть и у национальной картины мира любого народа, с тем только отличием, что она в определённые моменты истории может загораживать лишь небольшую часть «ландшафта реальности», а в другие — полностью закрывать собой этот ландшафт. В ней много и этногенетического, и исторически сложившегося, и политически актуального — и за эту «свою правду» народ на многое готов. Глядя на то, что происходит в последние годы на Украине, понимаешь, почему в древнем Вавилоне так и не удалось ни о чём договориться и ничего построить.

Есть ли в таком «вавилонском столпотворении» правые и виноватые? Может быть, и нет — но это до того момента, пока отдельные представители одной культуры не берутся за оружие и не совершают во имя неё насилия над инакомыслящими и инакочувствующими. Тогда ценность каждой человеческой жизни вступает в противоречие с ценностями агрессивной национальной картины мира — и она становится исторически подсудна. Возможность такой её трансформации, приводящей в крайних формах к проявлениям нацизма и фашизма, обычно стараются не акцентировать.

Другое дело — творческая функция, порождающая фольклорно-эстетическую реальность. Поскольку национальная картина мира исторически воплощена в культуре, народное творчество — это детства знакомый нам источник художественного мастерства и народной мудрости. Одними из первых научный интерес к ним проявили немецкие романтики: ещё в начале девятнадцатого века члены Гейдельбергского кружка, среди которых был и выдающийся филолог Якоб Гримм, начали исследование корней немецкой народной культуры как живой мифологической реальности народа. Немец, как и русский, японец или египтянин, внутри своей культуры усваивает смысловые и ценностные ориентиры, всю свою жизнь находясь в состоянии внутреннего диалога с ними. Но как реально осуществляется этот диалог, приводящий к «укоренению» смыслов и ценностей в индивидуальном сознании?

Открытие того факта, что народное искусство начинается прежде всего с языка, привело Якоба Гримма к исследованиям истории и грамматики немецкого языка, которые положили начало выделению германистики и лингвистики в отдельную науку. И хотя братьев Гримм знают прежде всего

по собранию немецких сказок, главным трудом своей жизни Якоб Гримм считал «Немецкий словарь» — сравнительно-исторический словарь всех германских языков. То, что при жизни учёного словарь был доведён лишь до буквы «F», а фактически завершён только через сто пятьдесят лет, говорит, безусловно, о колоссальной сложности языка как объекта исследования.

Витрины сокровищ или их неприступные тайники?

Даже самый древний естественный язык, на котором, как на прафундаменте, зиждется здание национальной культуры, чрезвычайно сложен. Каждое слово в нём обладает колоссальным многообразием, а это вставляет палки в колёса любой коммуникации, которая предпочитает однозначные слова-сигналы. Естественные языки народов строятся именно как сложнейшие «открыто-закрытые» системы: они сразу и кардинально очерчивают культурную границу нации — то есть повторяют закономерности национальной картины мира. Таким образом, именно национальный язык является первичной знаковой системой, основным естественным смысловым «экраном», через который сознание воспринимает мир. Иначе говоря, «что говорю, то вижу». Типы этих «экранов» удивительно разнообразны. Известно, что в языке эйзе есть тридцать три слова для выражения различных способов ходьбы. Арабский насчитывает 5700 названий верблюда. А иероглифическая основа языков Китая и Японии делает чрезвычайно трудным перевод их поэзии.

Скажем, даже на богатый возможностями русский язык японские танку или хокку часто переводят рифмованным стихом, хотя поэзия Японии не знает рифмы как поэтического знака. Принятый в последнее время в европейской традиции перевод верлибром игнорирует чёткий ритмический рисунок такого японского стиха. Сложность представляет и перевод ряда грамматических форм: так, в японском языке отсутствует категория рода, и стихотворцы предпочитали не употреблять личных местоимений, поэтому трудно даже предположить, о ком — мужчине или женщине — повествует приведённая ниже танка:

Любить...

Хоть нет тебя (меня, её, его),

Днём нахожу (находишь, находят) утешенье.

Ночью грустно

Одному (одной) в постели.

«Собирание смыслов» в иероглифе как «первокирпичике» этих языков определило и традицию считать голос поэта «голосом нации». В ней стирается грань между личным и неличным: поэт выступает вместилищем слов всех людей. Да и вообще в японской поэзии столько традиционного,

что само понятие плагиата в ней—абсурд. При этом стихи чрезвычайно насыщены национально-культурной и географической символикой. Известный пейзаж, конкретное название горы или реки в танке— не просто название, но общезначимый в культуре образ:

У сливовых цветов всё тот же аромат—
Как будто их коснулся твой рукав,
Совсем как та весна...
У месяца б узнать:
Быть может, прежняя весна вернулась вновь?¹

Японец прочитывает между строк этой танки массу не доступной нам информации. Ему хорошо известно, что рукава женской одежды с их глубокими внутренними карманами наполняли лепестками, аромат которых они впитывали. Поэтому цветы сливы вызвали в воображении возлюбленного воспоминание о рукаве любимой. Кроме того, зная о постоянной символике рукава, который в старину стелили перед расставанием в изголовье возлюбленному, сведущий читатель чутко различает и мотив разлуки. В этом же пятистишии зашифрована культурная информация о том, что события происходят осенью: «месяц», «луна» — осенние «сезонные» японские слова, потому что только в это время года луна особенно ярка на небосклоне Японии. И хотя может показаться, что эта танка посвящена памяти о прошедшей весне любви, на самом деле она утверждает продолжение любви и в осеннюю пору—ибо «цветы сливы» (а это весеннее «сезонное» слово) не изменили своего аромата вопреки циклическому времени. Вот так около 3000 «сезонных» слов говорят японскому читателю о циклическом времени, которое чрезвычайно важно в японской поэзии, ибо вся она—калейдоскоп времён года и созвучных с их сменой состояний природы и человека. В десятом веке автор первого трактата о поэзии Ки-но Цураюки написал: «Песни Ямато! Вы вырастаете из одного семени—сердца и превращаетесь в мириады лепестков речи, в мириады слов. И когда слышится голос соловья, поющего среди цветов, или голос лягушки, живущей в воде, хочется спросить: что же из всего живого на земле не поёт своей собственной песни?»¹

О, как далека эта восточная традиция поэтического вслушивания в мир от доминирующего лирического «Я» европейских поэтов, у которых мир обретает смысл только в собственных переживаниях! Конечно, английский писатель и нобелевский лауреат премии по литературе, родившийся к тому же в Индии, Джозеф Редьярд Киплинг утверждал, что преодоление сильной личностью границ национальных ценностей и предрассудков вполне возможно. Строки его знаменитой «Баллады о Западе и Востоке» в одном из переводов звучат так:

Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встаёт?

Но это кажущееся торжество общечеловеческого на поверку оказывается привычным штампом поэзии романтизма, причём сугубо европейского. А истины значительно больше, пожалуй, именно в первых строках этой баллады:

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток,
и с мест они не сойдут...²

...Доказательство сказанному можно найти и в любой другой сфере языка—например, в терминологии. Очевидно, что избранные в качестве терминов слова разных языков специфически определяют смысловое поле понятия. Так, европейцы ведут родословную философского термина «материя» от латинского слова, означающего «лес», «дерево», а в индийской философии этот термин происходит от слова «поле». Один термин—и две совершенно разные философии бытия! И такой факт множественности совершенно условных имён, которыми наречены в разных языках одни и те же предметы и явления, невозможно объяснить ничем иным, кроме как следующей истиной: язык нации есть универсальное средство охраны своей культуры от вторжения чужой. Он—неприступный тайник, своего рода оружие национальной картины мира в выполнении её «заградительной» функции.

Любая вселенная начинается с языка

Против этой самой «множественности» и условности языка бунтовал в своём творчестве «Председатель земного шара» и величайший чудака от науки и литературы Велимир Хлебников. Мыслитель и пророк, математик и орнитолог, он вынашивал множество проектов—от строительства Круго-Гималайской железной дороги и разведения в озёрах «пищи будущего» до поражающих своей точностью математических законов истории; от включения обезьян в семью человека и наделения их некоторыми гражданскими правами до паразитических постмодернистских стихов. Многие из этих стихов на столетие опередили литературный процесс. Так и хочется прочесть их с тягучей поэтической интонацией Иосифа Бродского:

Мне, бабочке, залетевшей
В комнату человеческой жизни,
Оставить почерк моей пыли
По суровым окнам, подписью узника,
На строгих стёклах рока.
Как скучны и серы
Обои из человеческой жизни!

.....

1. Японские пятистишия. М., 1971. С. 14, 5.

2. Киплинг Р. Баллада о Западе и Востоке.
<https://rustih.ru/redyard-kipling-ballada-o-zapade-i-vostoke>

Окон прозрачное «нет»!
Я уж стёр своё синее зарево, точек узоры,
Мою голубую бурю крыла — первую свежесть.
Пыльца снята, крылья увяли и стали прозрачны и жёстки.
Бьюсь я устало в окно человека.
Вечные числа стучатся оттуда
Призывом на родину, число зовут к числам вернуться.³

Принадлежащий эпохе символистов и бунтарей, чувствуя, как и они, момент коренного обновления российской жизни, Хлебников как никто другой понимал необходимость не менее коренных изменений в языке. А уж если речь шла о всемирной революции, то его цель — через систему символов и знаков нащупать всемирный язык и создать азбуку ума. Об этом он объявил в 1919 году в статье «Художники мира»: если современные бытовые языки разъединяют человечество, то единый язык с его «самовитыми словами» должен его объединить. «Самовитое слово», «умное слово» (или, иначе говоря, «заумь») у Хлебникова очень далеки от «слова, освобождённого от мысли», которое провозглашали другие футуристы, например, Алексей Кручёных. Хлебниковское слово-символ вполне рационально, поскольку основано на азбуке понятий и ума. Чистая звукопись для него — не цель, а лишь питательная среда, из которой можно вырастить «древо всемирного языка». Важно и то, что эту русскую звукопись поэт знал хорошо, глубоко изучив в первый период своего творчества славянские фольклорные мотивы.

Наука того периода была едина во мнении: в языке слишком многое необъяснимо, множество знаков представляют собой лишь условную форму, употребляемую по традиции. Признанный мэтр языкознания Фердинанд де Соссюр утверждал: язык произволен и условен, что, в общем-то, означало отрыв языка от мышления. Слово включает в себя культурный смысл наряду с формальной оболочкой: надо просто принять это как данность... Но Хлебников исходил из абсолютно другого утверждения: язык генетически связан с мышлением! И потому поэт и учёный стремился проникнуть в тайну слова.

Почему «и» в русском языке — союз, а на латыни — глагольная форма «иди»? Почему «да» для нас — утверждение, а в немецком — место? Почему для русского «он» — местоимение, а для турка — число «десять»? Иначе говоря: почему язык столь условен, и как преодолеть «произвольность» языкового знака? Хлебников считал возможным и необходимым рационализировать язык, ибо «новое слово» не только должно быть названо, но и должно «быть направленным к называемому». Это далеко от призыва создать

какое-то примитивное условное эсперанто. Для хлебниковского переустройства языка необходимо было проникнуть в архаичные пласты. Новый язык не придумывался — его знаки вычленились при «разложении слова» на его первоначальные значения. В результате получились архаичные «снижки» слов, удивительно

похожие на речь и поэзию восемнадцатого века. Это было продолжение традиции «философских языков» того времени и одновременно прорыв к научным открытиям связи языка и мышления конца двадцатого века. Но, как часто бывает, в откровениях «будетлянина» и чудака современники услышали только «языковой утопизм».

Однако наука продолжала двигаться в этом направлении. Именно на формальную оболочку слова обратил особое внимание советский лингвист Лев Владимирович Щерба, изобретая знаменитую фразу: «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка». В этой фразе, будучи оторваны от смысла толковых словарей, в полной мере раскрываются собственно объективные знаки национального языка. Такой подход позволил Щербе открыть, в противовес традиционной пассивной грамматике, грамматику активную. Его последователи-лингвисты вновь и вновь изучали материальную оболочку слова и выявляли те смыслы, которые она в себе несёт. В России существуют научные школы суггестивной фонетики, то есть изучения звуковых комплексов с точки зрения силы внушения и качества восприятия. Их разработки подтверждают объективность звуковых ассоциаций и результатов фонетического воздействия у представителей определённой языковой группы.

Мир, творимый словом

Любая национальная картина мира, воплощённая в культуре и языке, не воспроизводит предмет, а даёт ему имя. Этот процесс по своей значимости равен сотворению мира. Что означает имя, данное нам при рождении, наречённое при крещении или даже придуманное в социальных сетях? Иоанн, Ольга, Искра, Коминт (сокращённое «Коммунистический интернационал»), наконец, Basil, Gotten... Все они — символы принадлежности национальной, социальной или групповой мифологии, они могут быть и религиозно-христианскими, и советско-атеистическими, и культово-интернетными. Главное — с каким именно высшим по ценности смысловым комплексом той или иной культуры это имя тебя соединяет.

И в национальном мышлении, и в национальном языке важна именно связанность предметов и явлений между собой через их связь с неким сакральным центром — совершенным (идеальным) предметом. Таковы связь луны, лотоса и осени —

3. Хлебников В. Мне, бабочке, залетевшей...
<https://stihi.ru/diary/alemoskva/2020-01-25>

в древнеяпонском языковом мифе; луны, корзины с картофелем, жука-светлячка — в мифах майори. Такова связь красных колпаков санкюлютов со свершениями Французской революции или связь красного знамени с кровью павших героев Гражданской войны. Эту же неразрывность с Кольцом Всевластья демонстрируют толкиеновские назгулы, такова же сакральная связь предметов-крестражей с душой Того, Кого Нельзя Называть, в эпопее о Гарри Поттере.

Именно признаки такой связи отыскал в таинственных знаках Розеттского камня выдающийся французский лингвист Жан-Франсуа Шампольон. С раннего детства он бредил египетскими походами Наполеона, слушал лекции брата и других учёных о Египте и был уверен: именно он, когда вырастет, прочтёт текст «утраченного языка». Он в совершенстве знал десяток древних и столько же современных языков, и этот огромный лингвистический опыт подсказал Шампольону, что в основе египетского письма лежат звуки, а не рисунки. Исходным пунктом при дешифровке стала гипотеза о наличии в тексте царских имён, которые должны были звучать так же, как в греческом языке, — Птолемей и Клеопатра. Кроме того, имена царей были сакральными, поэтому помещались в овальную рамку. Ранее из текстов Плутарха Шампольон узнал, что в демотическом письме двадцать пять знаков, и стал их искать. Некоторые из них были связаны с сакральными изображениями птиц и животных. Расшифровав таким образом текст из 486 греческих слов и 1419 иероглифических знаков, Шампольон прочёл надпись и доказал, что египетское письмо — звуко-слоговое, положив тем самым начало науке египтологии.

Итак, ритуальные связи понятий в языке можно реконструировать. Это доказал в своих научных трудах и основатель русской индологической школы Иван Павлович Минаев, исследуя памятники Индии, Бирмы и Непала. Таким образом он создал первую грамматику языка пали и описал язык и культуру древнейшего населения Цейлона — лесных охотников веддов.

Но, помимо реконструкции, есть и другой путь выстроить такие ценностные связи внутри языка: можно задать их в качестве образца, как это и делалось в советский период. Составитель словарей русского языка Сергей Иванович Ожегов был в тридцатые годы двадцатого века ближайшим помощником Д. Н. Ушакова при составлении его «Толкового словаря» — в те времена это было знамя русской языковой культуры. На основе этих разработок Ожегов создал словник для русско-национальных словарей СССР, который стал практическим пособием при составлении учёными разных народов страны их национальных словарей. Конечно, получение письменности было для многих малых народов колоссальным культурным

прорывом, но при этом важно помнить, что важнейшим языковым материалом таких словарей был советский идеологический лексикон.

В частности, в этих словарях понятие религии ещё очень близко к определению «опиум для народа». Вместе с тем «ре-лигия» — исходя из происхождения слова, — это восстановленная связь. Причём именно та самая особая сакральная связь — связь Бога и мира, мира и человека, человека и его нации, человеческой души и души народа. Слово же «культура» произошло от древнего корня «коулт» — «возделывать». Культура, обращённая к священным связям, призвана, таким образом, ни к чему иному, как возделывать идеалы этих высоких связей.

Культурные связи можно прочесть и осмыслить, как полагал швейцарский психиатр и педагог Карл Густав Юнг, если выявить бессознательные архетипические образы человека. Поскольку индивид рождается с «целостным личностным эскизом», с наследуемой структурой психики, то семейные, национальные или общечеловеческие архетипические образы как источники устойчивой символики можно плодотворно изучать, тем более что они всегда носят эмоционально заряженный характер.

Отталкиваясь от юнговской категории «национального бессознательного», можно говорить о русских архетипах нашей культуры, о русскости нашей музыки, живописи и, в первую очередь, литературы. В докладе Академического собрания 2010 года «Константа русской души: Чайковский, Левитан, Бунин» мы специально останавливались на этом аспекте, выделив в итоге синэстетичность, интертекстуальность и диалогическое сознание этих мастеров искусств; устойчивые комплексы идей, образов и архетипов в их творчестве; философию чувства — интеллектуальное мужество оперировать понятиями «вечность», «любовь», «жизнь» и «смерть», «концы» и «начала». И ещё то, что все эти художники так или иначе обладали пророческим даром. Если Велимир Хлебников искал в древних архаизмах основу языка будущего, веря во всемирную революцию «умного» слова, то лауреат Нобелевской премии в области литературы, великий русский писатель Иван Алексеевич Бунин совершеннейшим образом отрицал советский «новояз» — язык корявых сокращений, лозунгов и просторечных искажений, возведённых в ранг новых пророческих языковых законов. Когда к Бунину обращались за отзывом молодые писатели, он терпеливо отвечал, что прочтёт их рукописи, но никогда не забывал предупредить, чтобы не трудились присылать те, что написаны новоязом.

Но, так или иначе, они оба смогли в чём-то опередить своё время. Прошёл век — и Бунин на поверку оказался не столько певцом дореволюционной России, каким его считали современники,

сколько русским новатором эпохи модернизма. Советские журналы кричали о его эпигонстве, а он изымал типы русской литературы из пыльного музея классики и заново переживал в своих произведениях их неиспользованные возможности. Реалист лишь по художественной манере, Бунин открыл человечеству беспредельность образно-сюжетного потенциала русской классики, её разрешение в бесконечность.

...Центр культурного мифа—память. Как и искусство, она отсеивает неважное, обнажая главное. У Бунина память—это и глубинное воспоминание о своём предсуществовании, и тема обращения к прожитому, и вечный мир русской художественной классики. Отбор памяти бессознателен, им руководит не рассудок, а нечто более глубокое—национальное бессознательное.

Великий церемониймейстер истории

М. Элиаде называл обряды «праздниками воспоминаний». Чем старше человек, тем более усиливаются в его памяти связи из собственного прошлого и прошлого его культуры; тем более важными, а значит, и неподвижными становятся смыслы, заключённые в его языке. С возрастом всё сильнее раздражает языковое экспериментаторство, и мы чувствуем необходимость сохранить и передать языковые традиции, а равно и традиции русского менталитета. Современная реальность даёт для этого все возможности, хотя общество не всегда ими пользуется.

Развитие языка и культуры осуществляется по естественным законам: это значит, что в обществе должны в равной степени поддерживаться обе тенденции по отношению к ним—и новаторская, и охранительная. Охранительная прежде всего связана с соблюдением национальных ценностей и языковой нормы в массовых источниках информации: в частности, в массмедиа, в школах и вузах совершенно необходимо говорить по-русски правильно. Вспоминая периоды засилья в нашем языке голландско-немецкой лексики во времена Петра I или французской речи в эпоху Наполеона (а равно и преклонения перед всем заграничным), хочется надеяться, что языковая англомания в сегодняшней России—просто ещё один исторический эпизод таких заимствований. И, как уже бывало, часть их уйдёт, а часть закономерно оседет в нашем языке и в нашей культуре, особенно если эти явления вошли в жизнь народа параллельно с новой технологической реальностью. Но при этом обязательно сработает закон языка и мышления, о котором писал в своей книге «Национальное своеобразие русской литературы» Б. Бурсов: «...Мысль, усвоенная при помощи чужого языка,

становится по-настоящему своей, когда она может быть выражена на собственном языке. При этом язык вовсе не остаётся безразличным к мысли. Он сам совершенствуется, чтобы стать ровней с мыслью, ему ещё не знакомой, и совершенствует или, во всяком случае (преимущественно на первых стадиях), приравнивает к местным условиям извне пришедшую мысль»⁴.

Таким образом, инациональная мысль—тоже один из источников развития языка и культуры. Развития вполне здорового и естественного в том случае, если большая часть общества (и особенно народные кумиры) не переходит на разнообразные сленги и жаргоны, а нормативные образцы языка и мышления и сохраняются, и постоянно транслируются. Русский язык во всём своём великолепии сохранился благодаря классической педагогической традиции изучать его как русскую словесность, которая веками в нашей стране была и эстетическим мерилом, и общественной мыслью, и учебником национального языка. И вот удивительно: большинство гимназистов не только писали правильно, но и совершенствовали своё ощущение жизни, ведя подробные дневники и сочиняя стихи. Необходимо помнить: если носители языка практически не слышат образцов правильно звучащей речи, не знакомы с великими образцами национальной общественной мысли, мода на всё западное и «языковые игры» в угоду групповым молодёжным ценностям могут сыграть с «великим русским» злую шутку, и потери рискуют стать необратимыми.

...А ведь нашим предкам, не имевшим в своём распоряжении средств массовой коммуникации, тем не менее удавалось сохранять и передавать образцы языковых и ментальных обрядов! В ряде фольклорных жанров мы находим специальные приёмы для запоминания—троекратные повторения важных событий, ситуации выбора, единую композицию, предполагающую одинаковое построение произведений. Этой же цели служат и метр народного эпического стиха, и постоянные фольклорные эпитеты, и гиперболизация характеристик. Но важный вопрос: может ли сегодняшний молодой человек извлечь какой-то полезный урок из текста былины?

...Вот богатырь Алёша Попович, единственный, кто осмеливается на пиру князя Владимира осудить неподобающее поведение Тугарина:

— Гой еси ты, ласковый государь Владимир-князь!

Что у тебя за болван пришёл?

Что за дурак неотёсанный?

Нечестно у князя за столом сидит,

Княгиню он, собака, целует в уста сахарные,

Тебе, князю, насмехается.

А у моего сударя-батюшки

Была собачица старая,

4. Бурсов Б. И. Национальное своеобразие русской литературы. Л., 1967. С. 89.

Насилу по подстолю таскалася,
И костью та собака подавилася—
Взял её за хвост, под гору махнул.
От меня Тугарину то же будет!⁵

Словесный поединок продолжался, пока антагонист Алёши не вышел из себя, но и тут сражения не произошло: главный бой почему-то отложили на завтра. Рациональному современному сознанию удивительна эта замедленность реакции былинных героев. Но удивительна лишь до того момента, как мы осознаем, что для древнего русича должно было существовать что-то более важное, чем богатырские эмоции и здравый смысл. Оказывается, это то, как именно сделан подвиг. То есть способ, каким была достигнута победа, для ритуального древнего сознания имел едва ли не большую ценность, чем результат боя. Ибо герой не может нанести урон своей славе, он должен достичь своей цели «правильно»! Вот и оказывается, что принцип «цель оправдывает средства» был чужд не только практической жизни наших предков, но и сохранившейся в веках национальной русской фольклорной педагогике.

Поднимаемые в русском фольклоре и русской литературе экзистенциальные, смысложизненные вопросы утомляли прагматичных западных мыслителей и уж тем более европейских мастеров искусств девятнадцатого—двадцатого веков. А для природно-созерцательной гармонии восточных цивилизаций подобные вопросы слишком прямолинейны и «очеловечены»... Ответы на такие вопросы давала и даёт веками именно русская культура. И ответы эти особенные—таинственно-мистериальные, духовно-языческие, светло-печальные, трагически-мажорные. Словно бы, существующая на границе великих цивилизаций, русская культура взяла на себя роль не только форпоста на перепутье культур, но и посредницы, поскольку умеет глубоко чувствовать и глубоко мыслить о человеке.

Яркие свойства русского менталитета описывал профессор Венского университета Николай Сергеевич Трубецкой, рассматривая русских как евразийский народ. Психологическая и культурная особенность русской нации определяется, по его убеждению, её принадлежностью к евразийской цивилизации: «на восток от Европы, на запад от Азии»—в границах империи Чингисхана. Россия, по его мнению,—наследница и центр этой империи, а потому в ней многое определяется «властью пространства», необходимостью культурного диалога и неустанной «работой» души. Всё это разлито в русском менталитете и вербализовано в русской словесности, которая и изучалась веками, создавая нравственную основу русской интеллигенции и восстанавливая её связь с русской национальной картиной мира.

Отрыв изучения национального языка от собственно образцов русской мысли, русского способа мышления, представленных в русской литературе, истории и философии, сравним с мировоззренческой катастрофой. Это делалось совершенно сознательно в стремлении заместить русскую национальную картину мира советской мифологией. И постепенно такая с виду невинная методическая практика вкупе с постоянным сокращением объёма гуманитарного знания в школах и вузах превратила великий русский язык в груды бессмысленных правил и исключений, сколь многочисленных, столь и неинтересных—особенно для пытливого детского ума. И как только в девяностые прекратился партийно-идеологический надзор за состоянием языка и культуры, эта школьная методика закономерно и быстро привела к сегодняшнему крайне слабому знанию своего родного языка молодым поколением россиян.

Языковая лаборатория и «чёрные дыры»

Первым, кто указал на то, что сущность языка состоит в речевой деятельности, был выдающийся российский-польский лингвист Иван Александрович Бодуэн де Куртене. До него историческое направление в лингвистике развивалось только на основе изучения письменных памятников. Исследуя живые языки, учёный доказал, что можно воздействовать на язык, а не только фиксировать существующее в нём,—так родилась экспериментальная фонетика, изучающая язык в развитии.

Именно в тексте и диалоге язык показывает свою способность умножать смыслы слов порой до бесконечности. Об этом убедительно писал создатель теории диалогической природы текста, русский философ и литературовед Михаил Михайлович Бахтин. Он вычленил несколько уровней диалога текста: это и собственные текстуальные диалоги, и общение через текст автора с читателем, и, наконец, текст-оценка исследователя.

Учёный был уверен: слово—настолько сложное явление в культуре, что должно изучаться в лингвистике с опорой на общественную эстетическую теорию, гносеологию и другие философские дисциплины. Так, слово в речи бесконечно «прирастает» смыслами контекста (иногда даже меняя свой общепотребимый смысл на противоположный). На этом, кстати, основан механизм остроты, которая вызывает эстетическое наслаждение именно как неожиданный результат замены привычного значения слова. Вот, например: «Он был незлопамятен: не помнил зла, которое причинял другим»,—здесь контекст слова делает его как бы не равным самому себе

5. Былина об Алёше Поповиче и Тугарине Змеевиче.
<https://narodstory.net/russkie-bilyini.php?id=1>

(своему прямому словарному значению). На этом же основан и эффект «освежения» слова в поэзии.

На многоуровневости и многомерности слова и комбинаций слов и строится сложнейшее «здание культуры». И один из путей такого строительства — словесные метафоры, которые также носят открыто-закрытый характер и зачастую непередаваемы на иностранный язык. Метафора (от греческого «переносу») определяется чаще всего как троп, сущность которого — в замещении слова, употреблённого в прямом значении, сходным с ним по смыслу словом, употреблённым в переносном смысле (С. Никитин). Процесс создания метафор в языке непрерывен: достаточно минимального сходства, чтобы слить различные предметы в едином слове. Одно из племён североамериканских индейцев имеет в своём языке слово, обозначающее одновременно ветвь, плечо, луч солнца, волосы и гриву. Да и в нашем языке тот же глагол «идти» распространён на все предметы, которые способны и не способны в реальности двигаться (ноги, часы, гроза, год, встреча, теплоход).

Наиболее интересны для построения национальной картины мира именно реализованные метафоры (или мифометафоры, как мы их называем). Они уже и не сравнения вовсе — а как раз утверждения. В этой деметафоризации отразился важнейший принцип культурного мышления — буквальность восприятия смыслов. В таком деметафоризированном виде мифометафора издревле настолько вошла в сам национальный язык, что мы её не замечаем. Но если её убрать, люди бы перестали понимать друг друга. «Ножка стола», «горлышко бутылки», «ручка двери» — согласно древней мифологической анатомии человек наделил частями своего тела все явления природы. Так происходит онтологизация метафоры, переход её в объективное бытование. В тексте советских произведений тридцатых годов метафора «Сталин — отец народов» понималась буквально, хотя и не в биологическом смысле. А образ из стихотворения Н. Тихонова «гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей» почти с ходу в советском быту стал реализованной метафорой: «железная воля партии».

Конечно, огромный интерес для развития языка и мышления представляет и поэтическая метафора, принцип сравнения в которой совсем иной. Метафору как свойство художественности изучал испанский философ Х. Ортега-и-Гассет. По его мнению, искусство приносит нам особое наслаждение потому, что «нам кажется, будто нам открывается внутренняя жизнь вещей, их осуществляющаяся реальность, и рядом с этим все

сведения, доставляемые наукой, кажутся только схемами, далёкими иллюзиями, тенями, символами»⁶. Метафора — и процесс, и результат формирования художественного образа. Х. Ортега-и-Гассет приводит пример поэтической строки, где кипарис сравнивается с «призраком мёртвого пламени», указывая, что ассоциативное сходство здесь очень поверхностное и даже ошибочное. Такими же можно признать многие поэтические образы — есенинский образ кудрей как «волнистой ржи при луне», блоковскую Россию с «узорным платом до бровей», память В. Маяковского, «собирающую у мозга в зале любимых неисчерпаемые очереди».

Философ пишет: «Метафора удовлетворяет именно потому, что мы угадываем в ней совпадение между двумя вещами, более глубокое и решающее, нежели любое сходство»⁶. Причём в этот момент происходит творение нового явления — «прекрасного кипариса», в противоположность кипарису реальному. Так на крошечном вербальном пространстве решается сложнейшая онтологическая проблема освобождения кипариса от зрительной реальности и придания ему нового качества, которое мы называем эстетическим.

В художественной метафоре процесс сближения начинается, согласно мышлению по аналогии, с поиска предмета, который был бы хоть чем-то похож на описываемый. В случае с кипарисом — это графическое сходство, в случае с есенинским «кленёночком», который «матки зелёное вымя сосёт», — качества «маленького» и «животного». Опираясь на такую «логическую малость», заявлять о тождестве понятий в рациональной логике не принято. Но это не значит, что логики здесь нет в принципе. Она — в самом поиске тождества, пусть даже там, где наука пока считает этот поиск бесперспективным.

Метафора — не только экономичная языковая формула, но и выражение духа народа. «Ананас» (а pineapple) в переводе с английского означает «яблоко сосны». Этот пример вербального образа-мифа забавен тем, что мог появиться у нации, где ананас отсутствует как реальность окружающей природы. В тайском языке, например, такой образ был бы принципиально невозможен: каждый таец видит, что ананас растёт на поле, как у нас капуста или кабачок.

Впрочем, в языке очень важно не только то, «как говорят», но и то, «как не говорят». Изучать последнее систематически считал очень важным Лев Щерба, который ввёл в научный оборот метод «отрицательного языкового материала». «Чёрные дыры» в языке, как и во Вселенной, ведут себя по-разному и несут различную смысловую нагрузку.

Одна из тенденций идёт от обрядов древней цивилизации, где среди обилия жестов и манипуляций с предметами у слова была сакральная

6. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства и другие работы. М., 1991. С. 489, 492, 531.

роль. Об этом свидетельствовали речевые табу, связанные с особой верой в силу слова. В этом случае «чёрная дыра» означала того, кого было нельзя называть. В славянских языках остались следы речевых табу, связанных с тотемными животными, такими как медведь («мёд едящий»), исконное имя которого было сначала запрещено, а потом в угоду табу замещено историей о нём. Особенно распространены речевые табу в восточной культуре. Они даже породили феномен лаконизма и аллегоризма восточной поэзии, которая вся — сдержанность чувств и мысли, намёк и подтекст.

«Умалчивать одно, чтобы суметь сказать другое»

«Каждый язык — это особое уравнение между обнаружением и умолчанием. Каждый народ умалчивает одно, чтобы суметь сказать другое»⁶. Эти слова Ортеги-и-Гассета, написанные в двадцатом веке, как никакие другие, близки нашим размышлениям о вавилонском столпотворении. Мысль испанского философа продолжает полемику, которую вёл ещё в девятнадцатом веке русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский. В статье «Два лагеря теоретиков» он развивал свою теорию оригинальной русской народной почвы. При этом он, критикуя славянофилов за их полное отрицание просвещения в России, осуждал также и западников за насаждение того «общего типа человека, который выработался на Западе», вопрошая: «...Точно ли выиграет много человечество, когда каждый народ будет представлять из себя какой-то стёртый грош?» — «Нет, — восклицал он тут же, — тогда только человечество и будет жить полной жизнью, когда всякий народ разовьётся на своих началах и принесёт от себя в общую сумму жизни какую-нибудь особенно развитую сторону...»⁷

Именно с думой о той особой задаче, которую пришлось решать русскому народу в мировой истории, и приступил к созданию первой по-настоящему «национальной истории» России выдающийся историк, академик по отделению русского языка и словесности Сергей Михайлович Соловьёв. Его «История России» начиналась с пятого века нашей эры. И он убедительно доказывал в своих трудах, что смысл этой истории — в самом собирании русских земель и утверждении русской государственности. Следуя именно русской ментальности, он и в истории как науке призывал не делить, не дробить её на отдельные части, а соединять их, следить за связью явлений, за преемством форм. Сергей Соловьёв сформулировал три «великих инстинкта» русского народа — политический, религиозный и культурный, которые служат ключом к пониманию русской картины мира. А именно: преданность государству, привязанность к церкви, потребность в просвещении.

Последний, как мы понимаем, наиболее тесно связан с национальным языком.

Идею Соловьёва об органичности просвещения для русской картины мира глубоко осмыслил Достоевский. Он отрицал традиционный штамп западного «окультуривания» России в эпоху Петра I. «Бывают такие времена в жизни народа, что в нём особенно чувствуется потребность выйти на свежий воздух, какое-то особое недовольство настоящим, потребность чего-то нового... В русском воздухе носились уже задатки реформационной бури, и в Петре только сосредоточилось это пламеннейшее общее желание — дать новое направление нашей исторической жизни»⁷, — пишет русский мыслитель. И заключает: идея Петра была народна, но Пётр как факт был антинароден. Его реформа, обращённая на внешнюю сторону жизни, была противоположна русскому народному духу, устремлённому к сути дела, к мысли о человеке, о совести и справедливости.

Именно эти «великие зёрна просвещения», как нам кажется, породили особое качество русской культуры, языка и литературы, истинная сила которых — в глубине и бесконечности раскрытия ландшафта души человека. Никто так не писал о человеке — ни устремлённые к «высотам духа» и «низинам бюргерства» немецкие писатели, ни наслаждающиеся равновесием жизни и бесконечными поединками с фортуной итальянские новеллисты, ни «созерцающие океан в капле воды» японские поэты. Никто! И чтобы так потрясающе многогранно раскрыть душу человека, надо писать по-русски, поскольку только этот естественный «инструмент» приспособлен к такой духовной работе.

Великий немецкий философ Гегель не смог удержаться от искушения вписать в создаваемую им философскую картину мира — в свои многочисленные восходящие к вселенскому духу триады — некоторые нации и народы. Делал он это сообразно своему пониманию их значимости для человечества, и выдвинутые им основания чрезвычайно любопытны. В частности, Гегель не находил у славянских народов особых талантов и заслуг и разглядел оные разве только у поляков как неплохих танцоров. Читая эти откровения, в полной мере ощущаешь, что такое национальный способ мышления, даже если мыслит действительно великий философ. Догадаемся с трёх раз, какой народ занимает высшее место на почётном гегелевском пьедестале! — догадаемся и почувствуем колоссальный заряд западного самодовольства и полного удовлетворения «собой любимым», которым безыскусно дышит гегелевский текст. Да,

7. Достоевский Ф. М. Два лагеря теоретиков (По поводу «Дня» и кой-чего другого). Полн. собр. соч. в 30 т. Л., 1972–1980. Т. 20. С. 6–7, 14.

«трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно когда её там нет». Трудно оценить старания другого народа мыслить о душе, стремясь к совершенствованию мира через совершенствование человека, если в твоей культуре не заложена такая потребность.

...Законы, направленные на улучшение жизни, есть во всех странах. Но спросим себя: какой русский не видит в них изъяна? Какой русский не выберет в споре закона и справедливости именно справедливость? И это обострённое ощущение каждым «своей правды» происходит от острого соперничества бытию человека, которое Бунин называл «повышенным чувством жизни». Нет, мы говорим не о национальной исключительности. Достоевский абсолютно прав, когда пишет: «Говоря, впрочем, о национальности, мы не разумеем под нею ту национальную исключительность, которая весьма часто противоречит интересам всего человечества. Нет, мы разумеем тут истинную национальность, которая всегда действует в интересе всех народов. Судьба распределила между ними задачи: развить ту или другую сторону человека... только тогда человечество и совершит полный цикл своего развития, когда каждый народ, применительно к условиям своего материального состояния, исполнит свою задачу. Резких различий в народных задачах нет...

Потому между народами никогда не может быть антагонизма, если каждый из них понимал бы истинные свои интересы. В том-то и беда, что такое понимание чрезвычайно редко, и народы ищут своей славы только в пустом первенстве пред своими соседями»⁷. Написано как вчера! Так понятно, так приложимо к сюжетам сегодняшних мировых новостей. Надо ли, внимательно читая Достоевского и других великих русских мыслителей, искать какой-то иной, «особый» текст, в котором «разлиты» качество русской культуры и русская национальная картина мира? Надо ли приводить ещё какие-то доводы, чтобы в полной мере осознать значение русского языка как для собственной нации, так и для других народов планеты?

...Надо просто читать русскую словесность. Читать — и постигать русский способ мышления о мире. Читать — и впитывать в себя те удивительные сокровища мысли, которые нам достались просто потому, что мы владеем родным русским языком. Языком, в котором, как и в русской картине мира, заложено стремление к мудрости и справедливости отношений между народами. Необыкновенно красивым и богатым языком, способным выживать в самых сложных условиях (как и всё русское!), вызывающим удивление и гордость...

.....
7. Достоевский Ф. М. Два лагеря теоретиков (По поводу «Дня» и кой-чего другого). Полн. собр. соч. в 30 т. Л., 1972–1980. Т. 20. С. 19